
Наследство
палачей
Кристина Соль
18+

Кристина Соль

Наследство палачей

«Автор»
2026

Соль К.

Наследство палачей / К. Соль — «Автор», 2026

Вюрцбург, 1515 год. Повитуху Агнес приговаривают к костру. Толпа ждёт крика, но ведьма останавливает себе сердце и уходит молча.Нью-Йорк, наши дни. Нора Беннет, тихий аналитик банка на Уолл-стрит, засыпает в ванне после очередного одинокого вечера и больше не просыпается. Просыпается кто-то другой.У Агнес теперь чужое тело, чужая работа, чужая мать, которая звонит по воскресеньям, и пять фамилий, которые она пронесла через пятьсот лет. Одни потомки её палачей пекут хлеб и растят внуков. Другие торгуют оружием, покупают голоса и сжигают людей в прямом эфире.Первых она не тронет. Вторым не повезло.А агент ФБР, который идёт по её следу, носит фамилию судьи, вынесшего ей приговор.

© Соль К., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Вюрцбург, 1515 5
Глава 1. Вода 8
Глава 2. Чужая жизнь 12
Глава 3. Строка 19
Глава 4. Отметка Норы 24
Глава 5. Тихие 30
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Кристина Соль
Наследство палачей

Пролог. Вюрцбург, 1515

Костёр сложили на Рыночной площади, напротив часовни Девы Марии, там, где по субботам торговали рыбой. Запах остался. Его не смыла ни ночная гроза, ни вёдра, которыми мальчишки из ратуши с рассвета окатывали камни. Я лежала на дне телеги и думала, что умирать мне предстоит среди карпов и лещей, и эта мысль почему-то держала меня лучше молитвы.

Телега шла медленно. Колёса цеплялись за каждый булыжник, и каждый булыжник отзывался в моих руках. Пальцы после допросов распухли и почти не гнулись, я держала их на коленях ладонями вверх, как держат чужую вещь, которую велели донести и не уронить. Боль я убрала ещё в башне. Это первое, чему научила меня бабка: тело слушается того, кто с ним разговаривает. Мне было восемь, я обварила руку кипятком, и бабка велела мне не реветь, а сказать руке, что всё кончилось. Я сказала. Рука поверила.

Утро выдалось ясное. После грозы небо над крепостью Мариенберг вымылось до белизны, и виноградники на склонах за рекой стояли такие зелёные, что на них больно было смотреть. Июнь. У моста цвели липы, и их сладкий тяжёлый дух долетал до площади, мешаясь с рыбой и дымом из пекарен. Я любила это время. В июне хорошо собирать зверобой, пока на нём не высохла роса, и в июне рожают меньше, чем весной, так что я успевала выспаться. Зверобой в этом году соберёт кто-нибудь другой. А может, и никто, и травы перестоят на корню у Белого ручья, и осенью их побьёт заморозком.

Людей было много. Я слышала их задолго до площади: гул, похожий на шум воды под мельничным колесом, и сквозь него отдельные выкрики, смех, плач чьего-то младенца. Младенца я узнала по голосу. Позапрошлой зимой он шёл ножками вперёд, и я поворачивала его в утробе почти до рассвета. Теперь он плакал у матери на руках, а мать стояла в толпе, чтобы посмотреть, как я горю.

Я не стала искать её глазами. Мне нужны были другие лица.

Телега остановилась. Двое стражников стащили меня на камни, и я встала сама, потому что решила это ещё ночью: встану сама и пойду сама. Толпа раздалась. Я шла сквозь неё, как идут сквозь высокую рожь, и чувствовала людей кожей. Так было всегда, с самого детства. Чужой страх пахнет для меня мокрой шерстью, злоба — горелым жиром, любопытство — чем-то кислым, вроде незрелого яблока. В то утро площадь пахла яблоками. Им было не страшно и не зло. Им было интересно.

Помост для судей поставили у ратушной стены, под навесом, чтобы господ не пекло солнцем. Там сидел судья Йоханнес Ланг, в чёрном, с меховым воротником, хотя стоял июнь. У него было узкое лицо, глубокие складки от носа к углам рта и очень спокойные руки. За три недели суда я ни разу не видела, чтобы он торопился или повышал голос. Он задавал вопросы так, как столяр меряет доску: дважды, а потом режет. Жестоким он не был. Он верил в то, что делает, и я думаю, что это хуже.

Чуть ниже, за отдельным столом, сидел Генрих Фогт, человек князя-епископа. Он вёл записи, и перо в его пальцах двигалось всё время, даже когда никто ничего не говорил. Фогт был круглолицый, с мягким тяжёлым подбородком, который ложился на воротник, как тесто на край квашни. Это он дал ход делу. Донос мог пролежать у него в сундуке до Михайлова дня и сгнить вместе с жалобами на соседских кур, но Фогту в тот год нужен был громкий процесс: в Бамберге уже сожгли двоих, и епископ спрашивал, отчего в Вюрцбурге так тихо. Я узнала это не от него. Когда он впервые пришёл в башню, от него пахло выгодой, а выгода пахнет медью.

Палач Ханс Брандт ждал у столба. Его я знала дольше всех. Его отец был палачом, и дед был палачом, и в городе с ними не садились за один стол, поэтому лечились они у меня, в доме за рекой, тайком, после темноты. Три года назад я вправила Хансу плечо. Он положил на стол серебряную монету, хотя я просила медь, и ушёл, не сказав ни слова. Теперь он стоял с верёвками в руках, высокий, сутулый, в кожаном фартуке, и смотрел на меня, как смотрят на работу. Я была ему за это почти благодарна. Из всех пятерых только он не притворялся.

Доктор Бертольд Кесслер вышел навстречу с распятием. Он был молод для своей учёности, не старше меня, с бледными чистыми руками и голосом, который хорошо слушался его под сводами собора. На суде он говорил дольше всех. Он объяснял судьям, что травы сами по себе не лечат, и если больной встал после моих отваров, значит, помог ему тот, кому я служу. Говорил красиво, с латынью, и судьи кивали. Я никому не служила. Бабка учила меня, что зверобой помогает от тоски и от ран, потому что так устроен зверобой, а Бог, если Он есть, устроил и зверобой тоже. Кесслеру этого было мало. Ему нужен был дьявол, потому что без дьявола выходило, что деревенская повитуха знает о теле больше, чем медики из Падуи.

— Покайся, — сказал он тихо. — Ещё не поздно, Агнес. Господь милосерд.

Я посмотрела на распятие. Оно было хорошей работы, из тёмного дерева, и лицо на нём было усталое и доброе. Мне не хотелось оскорблять это лицо. Против Него я ничего не имела. Я имела кое-что против доктора Кесслера.

— Господь знает, в чём мне каяться, — ответила я. — А вы не знаете.

Он отступил на шаг. От него потянуло горелым жиром, и мне это было приятно.

Брандт привязал меня к столбу. Делал он это ловко, без лишней грубости, и только раз, затягивая верёвку на поясе, задержал руку и наклонился к самому уху.

— Хворост сырой, — сказал он одними губами. — Гореть будет долго. Я могу…

Он не договорил, но я знала, о чём он. Бывало, палачи за плату или из жалости затягивали петлю на шее раньше, чем огонь доходил до лица. Судья этого не приказывал, и Брандт рисковал местом.

— Не надо, — сказала я. — Я сама.

Он посмотрел на меня тяжело, ничего не поняв, и отошёл.

Урсулу Шмидт я нашла глазами только теперь, когда меня подняли над толпой и стала видна вся площадь. Она стояла в третьем ряду с младенцем на руках, рядом с мужем, в праздничном чепце. Её корова пала прошлой весной. Её младший, которого она носила этой весной, родился мёртвым, хотя я сделала всё, что могла, и немного сверх того. Ей нужно было, чтобы в этом кто-то был виноват. Я её понимала. Я не простила бы её никогда, но понимала, и легче от этого не становилось. Она встретила мой взгляд и прижала младенца крепче. Младенец перестал плакать.

Пять лиц. Я смотрела на них по очереди и складывала в память, как складывают травы в холщовые мешочки на зиму, каждую отдельно, чтобы не перепутать. Ланг. Фогт. Шмидт. Брандт. Кесслер. Я не знала, зачем мне это. Мёртвым память ни к чему. Но бабка говорила, что важное надо запоминать, даже если не знаешь, пригодится ли, потому что не знаешь и того, что не пригодится.

Судья Ланг поднялся и прочёл приговор. Голос у него был ровный. Фогт записывал, хотя всё давно было записано. Над площадью носились стрижи, и пока судья читал, я следила за ними и думала, что стрижи никогда не садятся на землю. Ни разу за всю жизнь. Потом Брандт поднёс факел.

Солома занялась сразу, ольха зашипела. Дым поднялся в лицо, белый, едкий, и площадь пропала за ним, остался только звук. Толпа затихала. Я слышала, как она затихает: сначала первые ряды, потом дальние, потом торговки у фонтана, потом мальчишки на крышах. Тысячи людей задержали дыхание.

Я знала, чего они ждут. Я видела, как сжигали Гертруду из Рандерзакера, и помнила её крик. Его потом пересказывали в трактирах, как пересказывают хорошую проповедь. Они пришли за этим звуком. Каждый унесёт его домой и будет вспоминать за ужином, отламывая хлеб.

И тогда пришло то, чего со мной не бывало никогда, хотя людей я чувствовала всю жизнь. Их внимание. Тысячи взглядов, сведённых в одну точку, в меня, и каждый взгляд был тёплый и плотный, он ложился на кожу и входил под неё. Ничего похожего я прежде не знала. Я стояла в дыму, и сила поднималась во мне от ступней к груди, такая большая, что мне стало страшно, страшнее, чем от огня.

Огонь добрался до ног. Боль я убрала. Её было слишком много, чтобы убрать совсем, но я отодвинула её, как отодвигают тяжёлый сундук, на ладонь, на две, к самой стене.

Площадь ждала.

Я обратилась к сердцу. Оно билось часто и громко, как у зайца в силке. Я сказала ему то же, что когда-то сказала обваренной руке: всё кончилось. Оно не поверило. Я сказала ещё раз, и вся сила, что пришла ко мне от площади, ушла в эти два слова.

Сердце ударило ещё раз, медленно. И ещё, совсем медленно. И остановилось.

Последним, что я слышала, был гул. Он поднялся над площадью из тысяч глоток, низкий, недоумённый, обиженный, как ропот людей, у которых в последний миг отняли обещанное. Я унесла его с собой.

Глава 1. Вода

Вода была везде: во рту, в носу, в горле и в самом низу груди, где ей быть нельзя. Я рванулась вверх, ударилась затылком о твёрдое и гладкое, рука сорвалась, и я снова ушла под воду, теперь с открытыми глазами. Надо мной дрожал свет. Белый, ровный, неподвижный, без всякого огня.

Тело знало, что делать, раньше меня. Колени упёрлись, ладони нашли края, и я выбралась наружу, перевалилась через бортик и упала на пол. Пол был холодный, из квадратных плиток. Меня вывернуло водой, потом ещё раз. Я лежала щекой на плитках и кашляла, и каждый вдох входил в грудь с хрипом, рваный, неправильный, и всё-таки это был вдох.

Сначала я ни о чём не думала. Я знаю людей, которые в первую минуту после беды принимаются думать, и обычно это плохие люди или те, кто скоро умрёт. Я дышала, пока хрип не ушёл. Потом лежала и слушала. Где-то рядом гудело, ровно и низко, как гудит улей зимой. Капала вода. За стеной нарастал грохот, огромный, железный, он прокатился сквозь меня, задрожали плитки под щекой, звякнуло стекло на полке, и грохот ушёл, затих вдали. Я ждала, что кто-нибудь закричит. Никто не закричал.

Тогда я села. Комната была меньше моей кладовой для трав. Стены до плеч выложены белыми плитками, выше выкрашены в бледно-жёлтое. Длинная ванна, из которой я выбралась, была белая и гладкая, ни дерева, ни меди, и вода в ней почти остыла. На краю стоял бокал на тонкой ножке, пустой, с тёмным следом на дне. Рядом на полу бутылка. Я дотянулась и понюхала горлышко: вино, хорошее, такого не подавали даже у Фогта. Над умывальником висело зеркало величиной с окно, а над зеркалом горел свет. Ровная полоса света в стеклянной трубке. Ни фитиля, ни дыма, ни запаха масла.

Я долго на неё смотрела. Потом посмотрела в зеркало. Лицо в нём было мокрое, бледное и молодое. Слишком молодое: двадцать, может быть, двадцать два. Тёмно-русые волосы облепили щёки и шею. Нос с небольшой горбинкой, серые глаза, покрасневшие веки. Рот, который не умел ничего требовать. Я поняла это сразу, по тому, как он был сложен, как уголки губ держались книзу даже сейчас, когда хозяйки в этом лице уже не было. Хорошее лицо. Неглупое. Лицо, мимо которого проходят.

Моё лицо было другим. Ему был тридцать один год, на левой брови у него белел шрам от копыта, и после допросов его уже никто не назвал бы молодым.

Я подняла руку. Девушка в зеркале подняла руку. Пальцы длинные, ногти коротко острижены, на среднем пальце правой руки маленькая мозоль. Я смотрела на эту мозоль и ждала, что пойму, откуда она. И поняла. От пера, или от чего-то вроде пера, что держат весь день. Она много писала.

И тут на меня обрушилось.

Память пришла толчками, кусками, как идёт вода сквозь прорванную запруду, мутная, с ветками и камнями. Имя: Нора. Нора Беннет. Город с двойным названием, которого в моё время не было на свете: Нью-Йорк. Слово «банк», и вместе с ним запах холодного сухого воздуха, тихий перестук клавиш и лицо с бородкой, которое смотрело сквозь неё. Женский голос в маленькой коробочке: «Солнышко, ты поела?» Огайо. Другая девушка, смуглая, со смехом, похожим на чихание котёнка: Джесс. Цифры, длинные столбцы цифр, и в них что-то, что Нора искала и не нашла.

И язык. Язык пришёл весь сразу и остался. Я подумала «вода» и тут же услышала в голове другое слово, короткое, с влажным звуком в начале, и оба слова значили одно, и оба были мои.

Я сидела на полу, мокрая и голая, держалась обеими руками за край ванны и ждала, пока это кончится. Пол перестал качаться. Чужие воспоминания осели и легли во мне слоем ила. Я знала, что они там, и знала, что, если понадобится, достану.

Первым делом я проверила сердце. Это было разумно. Я не знала, где я, как сюда попала и что стало с моей силой. Если в этом теле её нет, я здесь беззащитнее младенца. Я положила ладонь под левую грудь, туда, где билось, и закрыла глаза.

Оно билось часто и неровно. Молодое сердце, нетренированное, сердце человека, который никогда не бегал от собак. Я заговорила с ним. Тише. Оно споткнулось, словно не ждало, что к нему обратятся. Тише, сказала я ещё раз. И оно послушалось. Удары пошли реже и глубже, я считала их и отпускала по одному. Я замедлила его до того, что между ударами успевала вдохнуть и выдохнуть. Потом отпустила, и оно побежало снова, обрадованно, как отвязанная собака.

Я открыла глаза. Рука на груди дрожала, и слабость тут была ни при чём.

То, чем я была, пришло со мной. Тело было чужое, его только что вынули из воды, а это пришло со мной.

Я встала, держась за умывальник, и нашла на крючке за дверью большое белое полотенце, мягкое, как овечья шерсть до первой стрижки. Вытерлась. Потом опустилась на корточки у ванны. Мне нужно было понять, что здесь случилось, и не из любопытства: если девушку убили, убийца может вернуться посмотреть на свою работу.

Я осмотрела всё так, как осматривала избу, куда меня звали к роженице, которая уже не дышала. Вода чистая, без крови. На бортике свёрнутое валиком полотенце, мокрое насквозь: она подложила его под шею, чтобы удобнее лежать. Свеча в стеклянном стаканчике на полке, догоревшая до дна. Бокал. Бутылка, выпитая наполовину, на этикетке золотые буквы и год, и тело ответило мне раньше, чем я спросила. Для особого случая. Нора купила эту бутылку год назад, когда её взяли на работу, и всё ждала по-настоящему особого случая.

Я знала, как это бывает. В деревнях тонули так же. Пастух засыпает хмельной у ручья лицом вниз. Женщина после родов садится в тёплую воду унять ломоту и больше не встаёт. Тёплая вода, вино, усталость за неделю. Тело перестаёт держать голову, сползает, и человек вдыхает воду, не просыпаясь, потому что во сне не понимает, что это вода. Тихая смерть. Тише моей.

На запястьях синяков не было. На шее тоже. Я проверила дважды. Никто её не трогал. Она легла отдохнуть.

В соседней комнате было темно, но стоило мне переступить порог, как свет загорелся сам, под потолком, мягкий и жёлтый. Я отшатнулась и ударилась плечом о косяк. Свет продолжал гореть. Он не трещал и не двигался, ничего не случилось, и через несколько ударов сердца я заставила себя выйти на середину комнаты и встать прямо под ним.

Тело было спокойно. Его спокойствие я приняла как приказ: если Нора двадцать два года прожила среди этих вещей и не боялась их, бояться нечего. Как они устроены, узнаю потом. Пока мне было довольно знать, что они не опасны.

Комната была одна, и в ней было всё. Кровать у стены под серым покрывалом. Стол у окна, на столе плоская чёрная доска с откинутой крышкой. Компьютер, подсказало тело, рабочий, уносить домой его нельзя, но она уносила. Полка, на которой книги стояли плотно и ровно, по цвету корешков, от тёмных к светлым. В углу, за низкой стойкой, кухня: плита без огня, высокий белый шкаф, из которого и шёл ровный гул, раковина, на сушилке одна вымытая тарелка. Одна чашка. Одна вилка.

Я открыла белый шкаф, и меня обдало холодом, как из погреба в январе. Внутри горел свет. Молоко в картонной коробке, яйца, сыр, затянутый в прозрачную плёнку, коробочка с чем-то зелёным. Еды было ровно на одного человека и ровно на неделю. На дверце висела записка, прижатая цветным камешком, который лип к металлу сам по себе, и на ней мелким аккуратным почерком было написано: «Молоко. Батарейки. Позвонить маме в вс!!!» Три восклицательных знака. Она боялась забыть.

Окно было во всю стену, и за ним стоял город. Вблизи всё было чётким, а вдали расплывалось, огни дрожали и двоились. Сначала я решила, что это вода осталась в глазах. Потом рука сама потянулась к подоконнику и нащупала там очки в тонкой оправе. Я надела их, и город прыгнул на меня.

Ночь, но небо не было чёрным. Оно светилось снизу, рыжим и грязно-розовым, как светится небо над горящей деревней, только огня нигде не было. Улица внизу была вся в огнях. Огни стояли на столбах вдоль домов, огни горели в окнах, тысячи окон одно над другим, огни ползли по дороге парами, белые спереди, красные сзади. Прямо напротив, чуть ниже окна, на железных опорах шёл мост, и пока я смотрела, по нему с тем самым грохотом пронеслась длинная светящаяся змея из сцепленных повозок. Внутри сидели люди, немного, по пять-шесть в каждой. Ночь, а они ехали куда-то, сидели под ярким светом и смотрели себе в колени.

Семёрка, сказало тело. Станция «Сорок шестая улица». До Манхэттена двенадцать минут, если без задержек. Я не знала, что такое Манхэттен. Потом знала.

Звёзд не было. Я искала их долго и не нашла ни одной, и подумала, что здесь, наверное, не знают, когда сеять. Потом подумала, что здесь, наверное, не сеют.

За спиной зажужжало. Я обернулась так быстро, что потемнело в глазах. На столе рядом с компьютером ползла по дереву маленькая плоская дощечка, светилась, дрожала, и из неё лилась короткая музыка, одна и та же, по кругу. На светящемся стекле было написано «Джесс» и нарисовано жёлтое круглое лицо, которое смеялось до слёз.

Телефон, подсказало тело. Слово было Норино, а вещь я про себя назвала стеклом, потому что ничего другого в ней не видела: гладкое, светящееся, тёплое, как камень на солнце. Я взяла его, и пальцы легли на него так привычно, что на миг я забыла, чьи это пальцы. Тело хотело ответить. Большой палец уже потянулся к зелёному кругу, и я его остановила.

Голос подруги я знала. Тело знало. Но я не знала, что она скажет и что ей отвечать, а главное, не знала, каким голосом говорит Нора. Нельзя открывать рот, пока не знаешь, что из него выйдет. Музыка играла. Потом стихла. Через минуту стекло вспыхнуло снова, и на нём появились слова:

«Эй, ты живая? Как вечер? Видела фотки у ваших, ты там где стоишь, я тебя не нашла. Звякни, у меня перерыв до двух».

Слова я понимала. Я не понимала, что за ними. Тело понимало. Оно отозвалось глухо и тяжело, где-то под рёбрами, как отзывается старый перелом на перемену погоды, и я, не думая, провела пальцем по стеклу. Стекло послушалось. Появились картинки, одна под другой, крошечные и яркие. Я тронула одну, и она выросла.

Люди за длинным столом на крыше, за ними огни, поднятые бокалы. Мужчины в белых рубахах с расстёгнутыми воротами, женщины с блестящими губами. Над картинкой надпись: «Лучший отдел комплаенса на Уолл-стрит! Спасибо всем за вечер». Ниже другие картинки, и на всех смеются. Человек с бородкой, которого я уже видела в Нориной памяти, обнимает за плечи двоих и смеётся громче всех. Я рассмотрела каждое лицо. Норы не было ни на одной.

Её не позвали. Тело объяснило мне это без слов, просто вдруг стало ясно, где была Нора, пока они поднимали бокалы на крыше. Она сидела вот за этим столом и проверяла какую-то компанию, потому что у Пола с бородкой отчёт в понедельник, и Пол попросил её посидеть подольше, раз уж она всё равно сидит. Потом она увидела картинки. Потом открыла бутылку, которую берегла, потому что решила, что ждать особого случая глупо. Потом набрала ванну.

Я положила стекло лицом вниз и долго стояла над ним.

Я не жалостлива. Повитухе нельзя быть жалостливой, у жалостливых дрожат руки. Но что-то во мне сжалось над этими картинками, и это было не Норино. Её чувство я узнала бы: оно жило в теле, как запах в старой одежде. Это было моё. Сегодня утром на меня смотрела вся площадь. На неё не посмотрел никто. Я не знала, какая из нас двоих умерла хуже.

Стекло зажужжало снова. Джесс написала ещё раз: «Нор?» И ещё через минуту: «Если не ответишь, я после смены приеду, я серьёзно».

Этого мне было не нужно. Женщина, которая знает Нору с юности, увидит меня, и у неё будет время смотреть. Я взяла стекло, и пальцы сами двинулись по нему, быстро, мелко, тыкая в маленькие буквы. Я смотрела, как они это делают, и не мешала.

«Всё норм, просто устала. Уже сплю. Завтра наберу».

Ответ пришёл почти сразу: «Окей. спи, ботаник. Люблю».

Пальцы сами нарисовали маленькое сердце и отправили его. Я отняла от стекла руку и посмотрела на неё, как смотрят на собаку, которая без команды принесла палку. Тело умело больше, чем я. Это следовало запомнить.

Наверху стекла, над картинками, стояли мелкие цифры. Час семнадцать. Суббота, семнадцатое октября. И год.

Я смотрела на этот год, пока цифры не начали расплываться даже в очках. Тело подсказало: от Рождества Христова. Так же, как у нас. Я посчитала. Потом посчитала ещё раз, загибая чужие пальцы, потому что не поверила себе. Пятьсот одиннадцать лет.

Сегодня утром на площади цвели липы. Пятьсот одиннадцать лет назад.

Я села на пол у окна, завернувшись в полотенце, спиной к холодному стеклу. За мостом, за крышами, за рыжим небом лежал город, в котором я ничего не знала, кроме того, что знала Нора. Где-то в нём, а может быть, и не в нём, а за морем, или нигде, лежали в земле пятеро. Ланг давно сгнил под плитой в соборе. Фогт, наверное, умер в своей постели, богатым. Урсулу похоронили на приходском кладбище, и её младенец, которого я повернула в утробе, вырос, женился, родил детей и тоже умер. Брандт передал свои верёвки сыну. Кесслер стал кем хотел.

Пятьсот лет — это двадцать колен. Я сидела и считала колена, как бабка учила считать роды в деревне, кто от кого, чтобы знать, у кого в роду падучая, а у кого двойни. Двадцать колен. У каждого из пятерых могло быть по трое детей, доживших до свадьбы. Я попробовала сосчитать дальше и бросила.

И тогда я заметила то, от чего сразу стало холоднее, чем от стекла за спиной. Я хотела вспомнить лицо бабки и не смогла. То есть смогла, но не сразу. Лицо пришло мутным, будто сквозь воду: платок, руки в морщинах, запах полыни, а глаза никак. А вот лицо женщины из Огайо, которая звонила по воскресеньям, стояло передо мной ясно и чётко, каждая веснушка на носу, каждая седая прядь у виска, потому что это лицо Нора видела шестнадцатого октября на маленьком стекле, и это было вчера.

Моя память лежала глубже. Её память лежала сверху. Ил оседает, и то, что упало в воду раньше, уходит на дно.

Я не знала, сколько это продлится. День, месяц, год. Может, однажды я проснусь в этой комнате и не вспомню, кто такая Агнес из-под Вюрцбурга, и встану, и поеду в банк, и буду сидеть допоздна, потому что Пол попросил.

За окном снова поднялся грохот. Длинная повозка шла к Манхэттену, пустая и яркая. Стекло у меня за спиной задрожало.

— Ланг, — сказала я вслух.

Голос был чужой, высокий и хрипловатый от воды. Он звучал в пустой комнате странно, как звучит в церкви голос ребёнка.

— Фогт. Шмидт. Брандт.

Грохот накрыл последнее имя целиком. Я подождала, пока повозка пройдёт, пока стихнет звон в стекле и в комнате снова станет слышен один только ровный гул белого шкафа.

— Кесслер, — сказала я.

И повторила все пять ещё раз, медленно, с самого начала.

Глава 2. Чужая жизнь

Два дня я училась быть Норой.

В субботу я проспала до полудня, и это было первое, что меня напугало. Я не спала так долго ни разу с тех пор, как бабка впервые подняла меня затемно к роженице. Тело просто не открыло глаза, когда я велела, и пришлось уговаривать его, как уговаривают упрямую корову: долго, терпеливо, без крика. Оно было слабое. Слабее, чем я думала ночью. У Норы ныла поясница от сидения за столом, плечи сводило к шее, на лестнице в четыре пролёта, которая вела от её двери вниз, на улицу, сердце начинало колотиться уже на третьем. Она почти не ходила пешком. Она почти не носила тяжёлого. Она жила, как живут в монастыре, только без молитвы и без огорода.

Я начала с малого. Спустилась по лестнице и поднялась обратно. Подождала, пока сердце успокоится, и не стала его торопить: пусть привыкает само, а я только посмотрю. Спустилась и поднялась ещё раз. На пятый раз ноги задрожали, и я позволила им дрожать, потому что тело, которое переделывают слишком быстро, ломается, а мне это тело было нужно целым. Потом я поела. Яйца, сыр, хлеб из пакета, мягкий и сладкий, как пряник, и почти без вкуса. Молоко было жидкое, словно его разбавили водой, хотя на коробке ничего такого написано не было.

Потом я села за Норино стекло.

В нём была вся её жизнь, и вся она помещалась в ладони. Письма, сотни писем, короткие и длинные. Разговоры с Джесс, тянувшиеся годами, с маленькими рисунками вместо слов. Картинки: Нора на фоне моря, Нора с матерью у какого-то дома с белым крыльцом, Нора одна в бумажной шляпе с тортом, на котором горели две свечи в виде цифр, двойка и двойка. Список дел, разбитый по дням. Список книг, которые надо прочесть, и рядом с половиной стояли галочки. Я читала до темноты, не для того, чтобы узнать Нору, а чтобы научиться её словам. Как она здоровается. Как прощается. Какие слова ставит в конце, чтобы смягчить сказанное. Она смягчала почти всё. Каждую просьбу она начинала с извинения, каждое несогласие заканчивала улыбающимся кругом, и чем дольше я читала, тем яснее понимала, что этой девушке было проще промолчать, чем попросить.

Джесс я написала сама, как обещала, едва проснулась. Пальцы и тут сделали почти всё, мне оставалось только смотреть, чтобы они не написали лишнего. Джесс ответила, что после смены у неё одна мечта, лечь и умереть до вторника, и чтобы я не обижалась. Я не обиделась.

В воскресенье в шесть вечера позвонила мать.

Я знала, что она позвонит. Записка на холодном шкафу напоминала об этом тремя восклицательными знаками, и всё воскресенье я ходила мимо и не могла решить, что делать. Не отвечать нельзя: мать, которой не ответили в воскресенье, сядет в повозку и приедет, это я понимала и без Нориной памяти. Отвечать страшно. Голос не спрячешь. Перед матерью не спрячешь ничего, у матерей на детей чутьё не хуже моего.

Стекло зазвонило, и на нём появилось «Мама» и маленький рисунок, красное сердце. Я сидела на кровати и смотрела на него, пока не поняла, что сейчас он замолчит. Тогда я отпустила тело.

Это было трудно, труднее, чем остановить сердце на костре. Остановить легко: нужно только очень сильно захотеть. Отпустить значит перестать хотеть совсем. Я села поудобнее, закрыла глаза, положила руки на колени и разрешила Норе говорить. Не душе её, души в теле больше не было, а тому, что от неё осталось в горле, во рту, в привычке держать голову чуть набок, когда слушаешь.

— Привет, мам, — сказал мой рот. Голос вышел тихий, немного виноватый, с улыбкой в конце.

— Солнышко! Ну наконец. Я уж думала, опять задержали. Ты поела?

— Поела.

— Что поела?

Я не знала, что отвечают на такой вопрос. Рот знал.

— Яйца, — сказал он. — И сыр. Мам, всё нормально, правда.

Мать говорила долго. Про соседскую собаку, которая опять выкопала её тюльпаны, хотя какие тюльпаны в октябре, это она луковицы посадила на весну, а собака выкопала. Про пастора, который прочёл хорошую проповедь о терпении. Про то, что у отца — тут она запнулась, и я услышала даже через стекло и сотни миль, как у неё перехватило дыхание, — у отца на кладбище она поменяла цветы, взяла жёлтые хризантемы, он любил жёлтые. Нора знала, что отец умер. Я узнала это только теперь, из её памяти, и знание легло на дно, к остальному.

Я молчала и слушала, а рот иногда говорил «угу» и «правда?», и один раз засмеялся, когда мать рассказала, как собака стояла над ямой с луковицей в зубах и делала вид, что это не она.

— Ты какая-то тихая, — сказала мать под конец.

Рот хотел сказать «устала». Я его остановила. Это было бы слишком близко к тому, что Нора сказала Джесс, а мать и Джесс могли разговаривать между собой.

— Неделя была длинная, — сказала я сама. Своим голосом. Он вышел чуть ниже Норино и ровнее.

Мать помолчала.

— Ты не болеешь?

— Нет.

— Ну смотри. Ешь нормально. Я тебя люблю, солнышко.

Рот сказал: «И я тебя». Я не стала ему мешать.

Когда стекло погасло, я долго сидела на кровати и смотрела на свои руки. Они были тёплые. Голос у матери был тёплый, и это тепло шло через стекло и через сотни миль, и оно было не моё, и оно дошло до меня, потому что больше ему некуда было деться. Я не знала, что с этим делать. Я положила стекло на подушку и пошла спускаться по лестнице в шестой раз.

В понедельник я встала в пять. На этот раз тело открыло глаза, когда я велела, хоть и неохотно.

За окном было ещё темно. Над мостом, по которому ходили длинные повозки, небо только начинало сереть, и в домах напротив одно за другим зажигались окна, жёлтые, белые, голубоватые, и в окнах двигались люди, такие же, как я, только настоящие: варили что-то, расчёсывались, стояли, держа в руках чашки, и смотрели в никуда. Пять утра в этом городе было похоже на пять утра в деревне перед жатвой. Все встают, и никто не рад.

Нора всегда одевалась на работу одинаково. Тело подвело меня к шкафу и само сняло с перекладины серые штаны, белую рубаху с пуговицами и тёмную короткую куртку, которая надевается поверх. На полу шкафа стояли туфли на низком каблуке, разношенные, удобные. Я оделась. Посмотрела в зеркало у двери. Оттуда на меня глядела девушка, которая хотела, чтобы её не заметили, и очень хорошо это умела. Серое, белое, тёмное. Волосы собраны в хвост. Очки.

Я постояла перед зеркалом и решила ничего не менять. Пока. Девушку, которую не замечают, не разглядывают. Мне сейчас это было нужнее всего.

На улице дул ветер с реки, холодный, сырой, пахнущий железом и гнилыми листьями. Листья лежали на мостовой у стен, мокрые, бурые, прилипшие к камню. Каштан у подъезда стоял почти голый. Я подняла воротник куртки так, как его поднимала Нора, и пошла к станции, и ноги сами знали, где поворачивать.

Станция стояла над улицей, на тех же железных опорах, что и мост. Наверх вела лестница, по ней поднимались люди, и я поднялась вместе с ними. Наверху был длинный открытый помост, продуваемый со всех сторон, с крышей от дождя, и на помосте уже стояли человек

сорок. Все молчали. Все смотрели в свои стёкла. Я встала у края, за жёлтой полосой, и стала ждать, как ждали они.

Повозка пришла с грохотом, и меня обдало ветром, и я заставила себя не отступить. Двери разъехались сами. Люди вошли, и я вошла.

Внутри было светло, тепло и тесно. Сиденья вдоль стен, железные столбы, за которые держатся стоящие, над головами картинки и надписи: о том, как вылечить зубы, о том, как получить деньги, о том, что если ты что-то видишь, то говори. Я взялась за столб. Повозка дёрнулась и пошла, и город за окнами поплыл, крыши, водонапорные бочки на крышах, кирпичные стены с огромными цветными надписями, которых я не могла прочесть, потому что буквы были нарочно перекручены.

На следующей остановке вошло ещё человек двадцать. Потом ещё. Скоро меня прижало к столбу спиной, а грудью к широкой куртке незнакомого мужчины, от которого пахло табаком и мылом. Справа женщина в платке читала что-то в своём стекле, слева мальчишка лет шестнадцати качал головой в такт музыке, которая лилась в его уши из белых шариков. Я стояла в этой тесноте и ждала, что почувствую их.

Я чувствовала. Усталость, кислую, как вчерашнее пиво. Скуку. Глухую тревогу у женщины в платке, тяжёлую и привычную, как ведро на коромысле. От мужчины в куртке тянуло застарелой злостью, такой густой, что к ней прилипло чужое лицо: мужское, с тяжёлой челюстью, оно мелькнуло и пропало. Так бывало и дома. Вблизи, если чувство у человека сильное, к запаху прилипают обрывки образов, не мысли словами, а картинки, мутные и короткие, как во сне. Бабка называла это «подслушивать сердце». Обычные люди. Таких я видела на ярмарке тысячами.

Но было ещё одно, и это я заметила не сразу, а только когда повозка нырнула под землю и в окнах стало черно. Никто ни на кого не смотрел. Сто человек в одной повозке, плечом к плечу, дыхание в дыхание, и ни одного взгляда. Они смотрели в свои стёкла, или в пол, или закрывали глаза. На ярмарке так не бывает. На ярмарке всегда кто-нибудь на кого-нибудь пялится: на чужую юбку, на чужой кошелёк, на чужую драку. Здесь глаза у всех были опущены, и от этого в повозке стояла странная пустота, как в церкви после службы. Мне стало зябко, хотя было душно. Я не понимала почему. Я запомнила это, как запоминают незнакомую траву: потом разберусь.

На большой подземной станции, которую тело назвало Гранд-Сентрал, оно вывело меня из повозки вместе с толпой. Мы шли длинным переходом под низкими сводами, вниз по одной лестнице и вверх по другой, и пахло там мокрым камнем и горячим железом. Я не отставала: ноги знали дорогу лучше меня. На другой линии ждала другая повозка, с зелёной полосой на боку, ещё теснее первой, и она повезла нас дальше на юг, под самым сердцем города.

На Уолл-стрит я вышла вместе с половиной повозки. Тело вело меня по лестнице наверх, из-под земли на свет, и я поднялась и остановилась, и люди, ругаясь вполголоса, обтекали меня с двух сторон, как вода обтекает камень.

Улица была узкая и тёмная, хотя солнце уже встало. Дома по обе стороны поднимались так высоко, что небо над ними сжалось в полосу шириной с реку Майн. Камень, стекло, камень. На одном доме стояли колонны толщиной в три обхвата, как у собора, и на фронтоне над ними каменные люди в каменных одеждах. Флаги. В самом конце улицы, на холме, если это можно назвать холмом, стояла церковь, тёмная, островерхая, с кладбищем у стены, и над ней, над всеми этими домами, поднимались другие, ещё выше, совсем из стекла, и в стекле отражались облака.

Церковь была меньше любого из домов вокруг. В Вюрцбурге собор был выше всего, кроме крепости на горе. Я стояла и смотрела на неё, и тело тянуло меня за рукав: опоздаешь. Я пошла.

Банк «Холлоуэй и Крейн» занимал целый дом из тёмного стекла. На двери не было ни ручки, ни замка, она поворачивалась сама, как мельничное колесо, и в ней надо было сделать несколько шагов по кругу, чтобы попасть внутрь. Я попала. Внутри был зал с каменным полом, с водой, которая бежала по стене от потолка до пола тонкой пеленой без единого всплеска, со стражниками в синих одеждах у низких воротец. У каждых воротец люди прикладывали к стеклу маленькую карточку на шнурке, и воротца открывались. Рука сама нашла карточку в кармане куртки. С карточки на меня смотрела Нора, и под ней было написано её имя и слово «Комплаенс». Я приложила. Воротца открылись.

Стражник в синем скользнул по мне взглядом и не задержался. Хорошо.

Потом был лифт. Ящик, который поднимает людей на этажи. Я знала про него из Нориной памяти, знала, что он не падает, знала, что Нора ездила в нём каждый день. Двери закрылись, ящик дёрнулся, и пол надавил мне на подошвы, и в животе стало пусто, как бывает, когда качели идут вниз. Восемь человек стояли вокруг меня и смотрели на светящиеся цифры над дверью. Цифры бежали. Четырнадцать. Двадцать. Двадцать шесть. Я держала сердце обеими руками, мысленно, и оно билось ровно. Тридцать один.

Двери разъехались, и я вышла в отдел комплаенса.

Это был длинный зал, светлый, тихий, с низким гулом воздуха под потолком. Столы стояли рядами, разделённые невысокими стенками, и за каждой стенкой сидел человек и смотрел в стекло. Вдоль окон, отгороженные прозрачными стенами, были комнаты побольше, для старших. В углу на столике стояла машина, из которой текло горячее и чёрное, и у машины две женщины говорили о чьей-то свадьбе. Пахло этим чёрным, горьким, бодрящим. Кофе. Нора пила его три раза в день, и тело уже тянулось к машине.

Нора сидела в середине, за третьей стенкой от окна. Я села. Стол был чистый, на нём стояли два больших стекла рядом, лежала стопка бумаг с цветными закладками, кружка с надписью «Лучшая дочь» и маленький горшок с колючим растением, которое не нужно поливать. Над столом к стенке были приколоты бумажки: длинные строки букв и цифр, имена компаний, какие-то схемы со стрелками. Я тронула клавиши, и стёкла засветились, и тело попросило у меня разрешения, и я разрешила, и пальцы сами ввели слово, которое Нора держала в тайне от всех, и мне открылась её работа.

Я долго смотрела, прежде чем начала понимать.

Банк давал людям деньги и хранил их деньги, и через банк деньги ходили по всему миру, из одного сундука в другой, за моря, в те земли, названий которых я не знала. Есть люди, которым деньги нельзя передавать: разбойники, воры, те, кто торгует запретным, те, кого король объявил своими врагами. Они прячутся. Они называют себя чужими именами, заводят подставные лавки и подставных владельцев, передают деньги через третьи руки. Нора сидела за этим столом, чтобы находить их. Она брала имя и разматывала его, как разматывают спутанный клубок шерсти, нитка за ниткой: кто владеет этой лавкой, кто владеет тем, кто владеет, кому этот человек брат, кому сват, через какую землю прошли деньги и почему не прямо. У неё были списки, длинные списки запретных имён, и она сличала с ними. У неё были чутьё и терпение.

Я сидела и смотрела на эти схемы со стрелками, и мне стало почти весело. Эта девушка всю жизнь искала людей по именам. А мне нужно было найти пятерых.

— Нора.

Я подняла голову. Над стенкой стоял мужчина лет тридцати пяти, с бородкой, остриженной так коротко и ровно, что она казалась нарисованной. Пол Хендрикс. Глава группы. Он улыбался, и улыбка была хорошая, широкая, с белыми зубами, а за улыбкой я почувствовала то же, что Норино тело почувствовало в ту первую ночь, над картинками: ничего. Он смотрел на Нору так, как смотрят на стул.

— Доброе утро, — сказал он. — Слушай, ты же доделала «Лайтхаус Капитал» в пятницу? Мне к одиннадцати надо.

— Доделала.

— Супер. Скинь мне. И в девять тридцать летучка, не забудь.

Он постучал костяшками по стенке, как стучат по столу на удачу, и пошёл дальше. От него пахло дорогим мылом и чем-то сладковатым, а под мылом, едва-едва, мокрой шерстью. Он чего-то боялся. Я проводила его глазами до прозрачной комнаты у окна и отметила это.

Тело знало, как отправить ему Норину работу. Я отправила.

В девять тридцать мы собрались в прозрачной комнате для разговоров, человек двенадцать, вокруг длинного стола. Нора всегда садилась в дальний угол, у стены, и тело повело меня туда же. Я села и стала смотреть на них, по очереди, как смотрела на площадь.

Это было похоже на погружение в реку в разное время года. Каждый человек был тёплый или холодный по-своему, и каждый пах по-своему, и все запахи смешивались в комнате, а я разбирала их, один за другим.

Рядом со мной сидел полный темнолицый мужчина с седыми висками, Рави Шах. Он был добрый. Нора это знала, а я почувствовала: от него шло тепло, ровное, как от печи, которую протопили с утра. И под теплом страх, сильный, свежий, страх за место. У кофейной машины с прошлой недели шептались, что будут сокращать, а Нора помнила, что у Рави трое детей и старая мать. Он перебирал под столом пальцами.

Напротив сидела молодая женщина с гладкими светлыми волосами и блестящими губами, та самая, с картинок. Меган Риз. Нора знала: это она их выложила. От неё пахло цветами и уверенностью, и, когда её взгляд скользнул по мне, я почувствовала короткий холодок, вроде брезгливости, с какой смотрят на таракана на чистой скатерти. Нора была ей неприятна. Не за что-то. Просто так, как бывает неприятен человек, который слишком тихий, слишком старательный и не умеет смеяться в нужный момент.

Рядом с Меган крутил ручку молодой парень с красными ушами. Он лгал. Он ещё ничего не сказал, а я уже знала, что он солжёт: от него поднимался запах, которого я ни с чем не спутаю, тонкий, как от прокисшего молока. Он чего-то не сделал и боялся, что спросят.

Спросили. Пол открыл летучку, пошёл по кругу, и каждый говорил, что сделал за неделю и что будет делать. Парень с красными ушами сказал, что отправил проверку по «Сандерс Груп» ещё в четверг.

— Ага, — сказал Пол. — Я не видел.

— Может, в спам ушло. Я перешлю.

Запах прокисшего молока стал сильнее. Пол ничего не почувствовал. Он кивнул и пошёл дальше. Я смотрела на парня, и он, должно быть, ощутил мой взгляд, потому что поднял глаза, наткнулся на мои и отвёл. Уши покраснели ещё больше.

Когда очередь дошла до меня, я сказала то, что сказала бы Нора. Тело подсказывало слова, я отбирала. «Лайтхаус Капитал» закрыта, нарушений не найдено. Взяла три новые проверки. Говорила я тихо, глядя в стол, как Нора. Пол кивнул, не дослушав, и сказал:

— Отлично. Теперь главное. В четверг квартальный обзор у Гудмана.

Комната стала холоднее. Я почувствовала, как у троих или четверых разом поднялся страх, и Рави снова перебрал под столом пальцами. Гудман был выше Пола. Гораздо выше, на самом верху, в стеклянной комнате на сороковом этаже, и раз в три месяца каждая группа ходила к нему наверх и рассказывала, что нашла.

— Презентацию собираю я, — сказал Пол. — Рави, мне от тебя цифры по санкционным спискам. Меган, по новым клиентам. Нора, сводка по эскалациям.

Он сказал это легко, улыбаясь. А страх от него шёл теперь сильный и густой, почти видимый, как пар над конским боком в мороз. Пол боялся Гудмана. К страху прилипла картинка, мутная, как сквозь дым: длинный стол, сухое лицо в очках и сам Пол перед этим лицом, с

пустыми руками. Он больше всего на свете хотел бы, чтобы в четверг наверх пошёл кто-нибудь другой, и, судя по тому, как кисло к страху примешивался стыд, сам себе в этом не признавался.

Я смотрела на него и думала. Бабка говорила: никогда не заставляй человека делать то, чего он не хочет, и не потому, что это грех, а потому, что не выйдет. Человек — та же река: повернуть можно, но только туда, куда она и так уже клонится. Можно прокопать канавку, убрать камень, и вода сама пойдёт куда надо. А строить плотину поперёк течения — дело для дураков и для мельников.

Пол клонился. Его нужно было только подтолкнуть.

После летучки все разошлись по местам. Я посидела, посмотрела на часы в углу стекла. Пятнадцать минут одиннадцатого. Потом встала и пошла через зал к прозрачной комнате у окна.

Пол сидел, наклонившись к своему стеклу, и что-то быстро печатал. Дверь была открыта. Я постучала по косяку. Он поднял голову, и в глазах у него мелькнуло удивление: Нора почти никогда не приходила сама.

— Да?

— Можно на минуту?

— Конечно. Что-то с «Лайтхаусом»?

Я вошла и прикрыла за собой дверь. Это его удивило ещё больше. Я села на стул напротив, не дожидаясь, пока он предложит.

Наговор делается тремя вещами: голосом, взглядом и именем. Голос должен быть тихим, чтобы человек подался вперёд, а не откинулся назад. Взгляд — прямым, но не тяжёлым, тяжёлый взгляд будит в человеке зверя, и зверь начинает защищаться. Имя — его собственное, полное, произнесённое так, как его произносила мать. Имя открывает дверь.

— Пол, — сказала я.

Он моргнул. Я поймала его взгляд и не отпустила, и почувствовала, как сила, та самая, что я нашла на костре и боялась больше не найти, шевельнулась во мне. На площади она шла потоком. Теперь текла тонкой струйкой, как вода из треснувшего кувшина. Её было мало. Но для канавки хватит.

— Я посмотрела твой план на четверг, — сказала я. — Сводка по эскалациям — это мои проверки. Все двадцать три. Я их знаю наизусть.

— Ну да, — сказал он, — поэтому я тебе её и…

— Гудман будет спрашивать по каждой. Ты знаешь, как он спрашивает.

Он знал. Я почувствовала, как в нём что-то дрогнуло, и страх поднялся выше. Это было неприятно, и я не стала его раздувать. Мне не нужен был испуганный Пол. Мне нужен был Пол, который нашёл выход.

— Давай я расскажу эту часть сама, — сказала я, тише. — Ты откроешь, расскажешь про группу, про цифры. А по эскалациям вопросы пусть идут ко мне. Тебе не придётся держать в голове двадцать три дела. Ты будешь выглядеть как руководитель, который растит людей.

Последние слова я подала ему тихо, будто на раскрытой ладони, как дают лошади сахар. Я видела, как он их взял и как они легли на то место, где уже лежало его собственное желание, и как оно отозвалось. Он хотел этого. Он хотел, чтобы кто-нибудь пришёл и снял с него четверг. Он только не знал, что это можно сделать, не потеряв лица.

Пол откинулся на спинку стула и постучал ручкой по столу. Он смотрел на меня. Я смотрела на него. Струйка силы шла от меня к нему ровно, тихо, и я держала её, не давая ни разлиться, ни иссякнуть.

— Знаешь, — сказал он медленно, — а это мысль. Гудман любит, когда джуниоров выводят.

— Любит, — согласилась я.

— Только ты же… — Он замялся. — Ты же не очень любишь выступать.

— Я справлюсь.

Он ещё помолчал. Страх от него больше не шёл. Шло облегчение, тёплое, сладковатое, как от человека, который весь день тащил мешок, а теперь опустил его на землю.

— Ладно, — сказал он. — Давай. Подготовь слайдов пять-шесть. Скинь мне в среду, посмотрю.

— Хорошо.

Я встала и отпустила струйку. Сила ушла обратно, и я почувствовала, что её стало меньше, чем было утром, совсем ненамного, на мелкую монету из кошелька. В висках слегка застучало. Ничего. Тело привыкнет.

У двери я обернулась. Пол сидел, глядя мне вслед, и на лице у него было странное выражение: он хмурился, пытаясь вспомнить, что только что произошло, и не мог. Он открыл рот, закрыл. Покрутил ручку. Он не понимал, почему согласился. Решение было его собственное, он его хотел, и всё же в нём осталось чувство, будто кто-то вошёл в комнату и тихо переставил мебель, пока он смотрел в окно.

Я вернулась за свой стол и села. Рави поднял голову от стекла и посмотрел на меня поверх стенки с добрым беспокойством: он видел, как я сидела у Пола за закрытой дверью, и, наверное, подумал, что меня сокращают. Я улыбнулась ему, как улыбалась Нора, уголками губ, и он успокоился.

Меган тоже смотрела. Впервые за весь год, насколько знало моё тело, она смотрела на Нору дольше одного мгновения. Холодок брезгливости в ней никуда не делся, но к нему примешалось что-то новое, кислое, как незрелое яблоко.

Я опустила глаза к стёклам и открыла первую из трёх новых проверок.

Через полчаса Пол вышел из своей комнаты к белой доске на стене, где маркером были расписаны дела группы на неделю. Он постоял у неё, подумал, взял синий маркер и в клетке напротив четверга, под словами «Обзор у Гудмана», рядом со своим именем, вывел: «Н. Беннет — эскалации». Потом отступил на шаг, посмотрел на написанное и не сразу отошёл.

Глава 3. Строка

Компьютер, который Нора уносила с работы, я не тронула.

Тело остановило меня само, когда в понедельник вечером я протянула к нему руку. Пальцы замерли над крышкой, и вместе с этим пришло знание, холодное и отчётливое, как правило, которое вбивают в голову с детства: всё, что делаешь на рабочей машине, видит банк. Каждое слово, которое ты ищешь, каждое место, куда заходишь, ложится в чью-то книгу, и эту книгу однажды могут открыть. Нора знала это лучше других. Она сама открывала такие книги, когда проверяла людей.

Под кроватью, в плоской сумке, лежал другой компьютер, старый, с потёртыми углами и наклейкой в виде совы на крышке. Нора купила его ещё в колледже. Он долго просыпался, гудел, как пчела в кувшине, и на нём было много Нориных книг, музыки и картинок, а больше ничего. Я поставила его на стол у окна, села, и когда стекло засветилось, долго сидела перед пустой строкой, в которой мигала тонкая чёрная палочка.

Нора знала про эту строку всё. Сюда пишешь, что хочешь найти, и тебе приносят. Всё, что знает мир. Я смотрела на мигающую палочку и не могла начать, потому что боялась. Мне казалось, стоит написать первое имя, и что-то сдвинется, и назад будет не вернуться. Глупость. Назад было не вернуться с того мгновения, как Брандт поднёс факел.

Я написала: Шмидт.

Пальцы сами поставили латинские буквы. Строка подумала долю мгновения и выбросила мне ответ, и над ответом мелкими серыми цифрами было написано, сколько всего нашлось.

Я перечитала цифру трижды. Потом попросила тело объяснить. Тело объяснило.

Шмидт значило кузнец. В каждой немецкой деревне был кузнец, и каждый кузнец мог передать имя сыну, и за пятьсот лет кузнецы расплодились по всей земле, как пырей. Строка выдала мне Шмидтов, которые пекли хлеб, лечили зубы, писали книги, бегали наперегонки за деньги, сидели в тюрьмах и правили странами. Шмидт, который был канцлером. Шмидт, который пел. Шмидты в Германии, Шмидты в Америке, Шмидты в землях, о которых я никогда не слышала. На первой странице не было ни одного, кто имел бы хоть какое-то отношение к Урсуле. На второй тоже. Я пролистала десять страниц и остановилась.

Тогда я написала: Шмидт Вюрцбург.

Строка принесла мне гостиницы. Пивоварню. Зубного лекаря на улице, которую я помнила как Овечий переулок, а теперь она называлась иначе. Картинки города, и я долго смотрела на них. Крепость на горе стояла на месте. Мост через Майн стоял на месте, только на нём теперь были каменные святые, которых в моё время не было. Часовня Девы Марии стояла на месте, красно-белая, с высокой колокольней, и перед ней на Рыночной площади, на том самом месте, стояли торговые палатки под полосатыми навесами, и люди ели что-то из бумажных кульков. Никто из них не знал, что там было. Камни переложили, наверное, раз десять.

Я закрыла картинки и написала остальные. Ланг. Брандт. Кесслер. Фогт. Каждое имя приносило мне мир, набитый людьми, как улей пчёлами. Ланги в Германии, Ланги в Америке, Ланг, который снимал движущиеся картинки сто лет назад, Ланги, которые продавали дома. Брандты, Брандты, Брандты. Кесслеров было меньше, но тоже столько, что не сосчитать. Фогтов много, и ещё больше под другим написанием, которое строка предлагала мне сама, услужливо, с вопросом: возможно, вы имели в виду…

Я сидела и смотрела, как они сыплются на меня, и внутри у меня поднималось то, чего я не чувствовала даже на суде. На суде я хотя бы знала, с кем говорю.

Я не помню, сколько я так сидела. Помню, что за окном три раза прогрохотала длинная повозка, а потом я поняла, что сжимаю зубы так, что ноет челюсть, и что левая рука у меня

лежит на столе, сжатая в кулак, а ногти впились в ладонь до красных полукружий. Нора никогда не сжимала кулаков. Её тело этого не умело, и ему было больно.

Я разжала руку. Я думала, что найду их, как находят в деревне. Пойдёшь к старосте, спросишь, кто чей. Пятьсот лет назад мне не нужно было никого искать: я и так знала, кто такая Урсула Шмидт, где живёт, с кем спит и почему у неё пала корова. Здесь у меня было окно в целый мир, и окно это было завалено людьми до самого неба, и все они носили чужие лица под теми же именами.

Сорок миллионов. Это число всплыло откуда-то из Нориной глубины, из обрывков читанного: сорок миллионов человек в этой стране считают своими предками немцев. Больше, чем жило во всей Священной Римской империи в моё время. Корабль за кораблём, пятьсот лет. Уходили от войн, от голода, от князей и от епископов. Из Франконии уходило особенно много народу, потому что Франкония вечно была то под одним, то под другим, и вечно в ней воевали.

Я встала, подошла к окну и прислонилась лбом к холодному стеклу. Внизу по улице шла женщина с собакой. Собака остановилась у столба, понюхала, задрала лапу. Женщина смотрела в своё стекло.

Бабка не любила, когда я злилась. Говорила, злость — это вода в котле без крышки: шуму много, а сварить ничего не сваришь. Хочешь сварить — накрой.

Я вернулась к столу. Села. И на этот раз отпустила руки сразу, не дожидаясь, пока тело попросит.

Пальцы постояли над клавишами мгновение, как стоит собака на перекрёстке, выбирая след. И пошли.

Они работали быстро и без суеты. Они закрыли строку со Шмидтами и открыли другое место, неприметное, с зелёным деревом на картинке в углу. Тело знало его. Нора пользовалась такими местами на работе, когда нужно было проверить, кто кому родня, и найти мать подставного владельца, и тётку матери, и того, кто был свидетелем на свадьбе тётки. Это были родословные. Люди со всего света собирали здесь свои родословные, по крупицам, из церковных книг, из переписей, из надгробий, и складывали их в деревья, где каждая ветка — человек, и от каждой ветки идут другие.

Я смотрела на это и не верила. Бабка помнила родство всей деревни на семь колен, и это считалось чудом, к ней ходили из соседних сёл спросить, можно ли венчать такого-то с такой-то, не слишком ли близко. Здесь каждый мог вырастить себе дерево на двадцать колен, и выставить на всеобщее обозрение, и гордиться.

Люди любят знать, откуда они. Это я понимала. Этим можно было пользоваться.

Пальцы спросили меня, кого искать. Я подумала.

Шмидтов и Брандтов слишком много. Лангов тоже. Мне нужен был тот, кого потомки сами хотели бы найти. Тот, кем гордились бы и кого с удовольствием записали бы в своё дерево.

Палач? Нет. Палачами не гордятся. Палачей стыдятся, их имена вымарывают, их дочерей стараются выдать замуж подальше, в другой город, под чужим именем.

Соседка-доносчица? Её никто не запомнил. Она была никем, женой торговца, одной из тысяч.

Судья? Может быть. Судьи бывают в родословных.

Священник? Детей у Кесслера не было. Он давал обет.

Фогт. Генрих Фогт, человек князя-епископа, с пером, которое всё время двигалось. Он был богат, он был при власти, он служил епископу и, должно быть, служил хорошо, раз епископ спрашивал именно его, отчего в Вюрцбурге так тихо. Такие люди оставляют следы. Получают земли, получают гербы, их имена записывают в книги, и потомки потом показывают эти книги гостям.

Я сказала пальцам: Генрих Фогт. Вюрцбург. И год. Около тысяча пятисотого.

Пальцы вписали это в нужные строки. Дерево с зелёной картинкой подумало дольше, чем строка, и выдало мне список. Сорок с лишним Генрихов Фогтов, родившихся в Германии за полвека, и у трёх в графе места стоял Вюрцбург, а у одного рядом было приписано мелкими буквами слово, от которого у меня на мгновение остановилось сердце.

Amtmann. Чиновник.

Я сама сказала сердцу, чтобы оно шло дальше. Оно пошло.

Это было чужое дерево. Его вырастил кто-то другой и выставил здесь, и в углу стояло имя: Маргарет Войт-Эллери, Олбани, штат Нью-Йорк. Она работала над ним одиннадцать лет. Это тоже было написано, с гордостью. Я нажала на имя Генриха Фогта, и оно раскрылось.

Генрих Фогт. Родился около 1478 года. Чиновник князя-епископа Вюрцбургского. Умер в 1531 году в Вюрцбурге.

В тысяча пятьсот тридцать первом. На шестнадцать лет позже меня. Я угадала тогда, на полу у окна: в своей постели. Ниже было написано, что он владел домом на Домштрассе и виноградником на склоне Штайн. Склон Штайн я знала. С него было видно реку, и вино с него было лучшим в округе. Это вино пил епископ.

Была жена. Были дети, шестеро, и четверо пережили детство. Старший сын тоже стал чиновником. Его сын — писарем при соборе. Ветки шли вниз, колено за коленом, и я шла по ним, и тело помогало мне, подсказывало, что значат сокращения, какие даты сомнительные, где ветка обрывается и почему. Войны. Мор. Ещё войны. В одном колене из девятерых детей выжил один. Фогты мельчали, теряли дома и виноградники, переезжали из Вюрцбурга в Оксенфурт, вверх по реке, и там пекли хлеб и шили сапоги. Восемнадцатый век. Девятнадцатый.

Иоганн Фогт, сапожник, родился в Оксенфурте в 1821 году. Отбыл из Бремена в 1849 году на корабле «Минерва». Прибыл в Нью-Йорк.

Пальцы сами нажали на название корабля, и открылась картинка. Старая бумага, серая, в разводах, разлинованная, и по линейкам чужой торопливой рукой, наклонно, чернилами, имена. Это был список людей, которые сошли с корабля на берег. Я нашла его в середине страницы. Johann Voight, 28, shoemaker, Bavaria.

Voight. Не Vogt. Писарь в нью-йоркском порту услышал это имя от уставшего немца, который сорок дней качался в трюме, и записал так, как ему показалось правильным. С этого мгновения фамилия поменялась. Одной буквой, двумя. Здесь этого хватало, чтобы человек стал другим.

Я сидела и смотрела на эту строчку, на кривой наклон чужих букв, и мне стало смешно, без всякого веселья, как бывает, когда видишь, что всю жизнь искал что-то в доме, а оно лежало на виду, на столе. Сто семьдесят лет назад пьяный или сонный писарь спрятал от меня Фогтов лучше, чем спрятал бы их любой колдун.

Ветка шла дальше. Иоганн Войт осел в Олбани, вверх по большой реке от Нью-Йорка, открыл сапожную лавку. Его сын торговал кожей. Внук — землёй. Правнук стал законником, потом судьёй, и дальше в каждом колене кто-то был при законе или при власти: олдермен, мэр, член какого-то собрания. Фогты, которые при епископах скатились до сапожников, в новой земле опять поднялись туда, откуда пришли. Медь к меди.

Последний в ветке был обведён рамкой и отмечен маленькой синей звёздочкой. Значит, этот человек жив.

Ричард Джеймс Войт. Родился в 1968 году в Олбани. Сенатор штата Нью-Йорк.

Внизу, под рамкой, Маргарет Войт-Эллери оставила приписку, и я прочла её, держа ладонь у губ. Она написала, что семья Войт до сих пор хранит реликвию, переданную из поколения в поколение и привезённую из Германии в 1849 году: копию судебного протокола шестнадцатого века, «к которому руку приложил наш предок Генрих». Документ хранится у

Ричарда, «и он отказывается показывать его даже мне», пошутила она и поставила маленькое улыбающееся лицо.

Судебный протокол. Шестнадцатый век. Генрих, который всё записывал, хотя всё уже было записано.

Я встала из-за стола и прошлась по комнате от окна до двери и обратно. Шесть шагов. Потом ещё раз. Ногам не сиделось, их надо было куда-то деть, и я ходила, как ходила волчица, которую я однажды видела в клетке на ярмарке в Китцингене. Она тоже ходила шесть шагов туда и шесть обратно, и смотрела сквозь людей. Я тогда пожалела её. Теперь я понимала, что жалеть было не за что. Она просто думала.

Сенатор. Тело объяснило: человек, которого выбирают люди, чтобы он писал за них законы. Один из шестидесяти трёх в этом штате. Сенатор штата — это ещё не самый верх, но это близко к верху, и у Ричарда Войта, сообщила мне строка, когда я вернулась к столу и вписала его имя, большие планы. О нём писали много. Он был в новостях каждую неделю.

Я выбрала одну из новостей, свежую, с прошлой пятницы. Под заголовком было стекло в стекле, маленькое окошко, и на нём треугольник. Пальцы нажали на треугольник.

Картинка ожила. Человек стоял на ступенях какого-то здания из белого камня, перед ним теснились люди с маленькими чёрными коробочками в руках, протянутыми к его лицу, и он говорил. Он говорил о безопасности, о том, что граждане имеют право защищать себя, о рабочих местах на заводах в северных округах, которые надо сохранить. Голос у него был звучный, поставленный, как у проповедника, который знает, где сделать паузу. Седые волосы, зачёсанные назад. Синий костюм. Маленький флажок на лацкане.

Я не слушала, что он говорит. Я смотрела.

Лицо было широкое, румяное, гладко выбритое. Глаза небольшие, светлые, умные, и во взгляде было то спокойное удовольствие, с каким наевшийся человек смотрит на чужой обед. А под ртом, под нижней губой, начинался подбородок. Мягкий, тяжёлый, он ложился на воротник белой рубахи, точно тесто на край квашни.

Пятьсот одиннадцать лет. Двадцать колен. Корабль «Минерва», сапожная лавка, торговля кожей, законы, собрания. Писарь, переделавший фамилию. Сотни женщин, которые входили в этот род и приносили в него свои лица. И всё равно этот подбородок дошёл до меня целым. Природа упряма. Бабка говорила, что лицо у рода — как река: можно перегородить, можно отвести, можно засыпать камнями, а она всё равно найдёт старое русло.

Я остановила картинку на середине слова. Сенатор застыл с полуоткрытым ртом, рука поднята, ладонь раскрыта к людям, будто он кого-то благословляет. Я наклонилась к стеклу так близко, что увидела мелкие точки, из которых оно было сложено.

Я смотрела на него долго. За окном прошла повозка, потом ещё одна. Небо над мостом из рыжего стало серым, потом розоватым. Внизу заскрежетала, разворачиваясь, большая телега, которая собирала мусор. Я не спала, и тело не просило сна, потому что я сказала ему не просить, и оно не просило, только в висках к утру поселилась тупая тянущая боль, как от слишком тугого платка.

Я думала о том, как он спит. Где он живёт, в каком доме, с кем. Есть ли у него дети, внуки. Боится ли он чего-нибудь. Все боятся. Нора умела находить чужие страхи по бумагам. Я умела находить их по запаху. Одного стекла для этого мало: сквозь стекло я не чувствовала от него ничего, ни шерсти, ни меди, ни жира, он был для меня как нарисованный, и это злило меня почти так же, как злили Шмидты. Мне нужно было стоять рядом. Мне нужно было, чтобы он на меня посмотрел: тогда я его узнаю.

Когда небо стало совсем светлым, я встала, взяла с полки Норину ручку и пошла к белому шкафу на кухне. Записка висела на месте, под цветным камешком. «Молоко. Батарейки. Позвонить маме в вс!!!» Молоко я купила в воскресенье. Маме я позвонила. Батарейки я пока не знала, куда вставлять.

Я наклонилась и ниже трёх Нориных строк, своим почерком, крупнее и угловатее, чем писала она, с наклоном влево, как меня научил когда-то писарь из Рандерзакера за то, что я вылечила его дочь от горячки, написала: «Ричард Войт».

Потом подумала и дописала рядом: «Протокол».

Глава 4. Отметка Норы

Слайды я собирала два вечера.

Тело умело и это. Нора делала их десятки раз, для Пола, для других, всегда для других: стопки светящихся листов, которые показывают на стене один за другим, пока кто-то говорит. На листах должны быть цифры, стрелки, немного слов и ни одного лишнего. Пальцы двигали прямоугольники, меняли цвета, выравнивали строки по невидимой линейке, и я смотрела на это, как смотрят на хорошую пряху. Нора любила порядок. На её листах всё стояло ровно, всё было одного серо-синего цвета, и мне это нравилось. Я не стала ничего менять.

Двадцать три дела. Я прочла их все, от первой строки до последней, по два, по три раза. Это были люди, чьи деньги показались Норе подозрительными и которых она отправила выше, к тем, кто решает. Человек, который пятнадцать раз за месяц положил в банк сумму чуть меньше той, о которой банк обязан сообщать. Лавка, которая продавала ковры и через которую за год прошло больше денег, чем через весь ковровый ряд в Нюрнберге за мою жизнь. Женщина, на счёт которой приходили переводы из земли, с которой торговать запрещено. Нора разматывала каждого до самого конца и писала об этом сухо, коротко, не делая выводов, которых не могла доказать. Я читала её заметки и думала, что из неё вышел бы хороший судья. Лучше Ланга. Она сомневалась.

Ночью я не спала. Вторую ночь подряд, после той, с Фогтом. Тело просилось лечь, я ему не разрешала. Мне не хватало часов. Днём Нора принадлежала банку, вечером Нора принадлежала слайдам, а ночью мне нужно было время на Фогтов, на дерево с зелёной картинкой, на Брандтов и Лангов, которых я пока не трогала, потому что не знала, с какого конца к ним подойти. Я сидела за старым компьютером с совой до четырёх, потом шла под горячую воду, потом пила чёрный кофе, чашку за чашкой, и тело слушалось, только в висках жила та тупая боль от тугого платка, а к среде к ней прибавилась ещё одна, за глазами.

В среду в три Пол собрал нас посмотреть презентацию целиком.

Мы сидели в той же прозрачной комнате, только на этот раз на стене горел белый прямоугольник, и Пол щёлкал, а мы смотрели. Его часть была хорошая. Гладкая. Он говорил о группе так, как говорят о хорошо ухоженном стаде: столько-то голов, столько-то проверок, столько-то нарушений найдено. Цифры Рави шли следом, и Рави зачитывал их сам, запинаясь, глядя в стол, и от него пахло страхом так густо, что я подвинула стул.

Потом шла часть Меган. Новые клиенты, одиннадцать листов. Она говорила быстро, весело, улыбалась Полу и показывала ему блестящие ногти, когда тянулась к стене указать на цифру. Пол кивал.

Потом Пол щёлкнул, и на стене появился мой первый лист.

— Так, — сказал Пол, — дальше Нора по эскалациям. Нора, давай.

Я не успела открыть рот.

— Слушай, Пол, — сказала Меган. Сказала мягко, дружески, чуть наклонив голову. — Я только хотела предложить. Может, эскалации в мою часть вставить? Там же половина по моим клиентам. Ну, в смысле, клиенты не мои, но я их заводила. Будет логичнее, одна история. А Нора просто будет рядом, если вопросы.

Пол замялся. Я почувствовала, как в нём что-то качнулось. Ему было всё равно, кто расскажет, лишь бы не он, и Меган он знал лучше, и Меган улыбалась.

И от Меган пахло. Сладким, кислым, незрелым. Ни страха, ни злости, одна досада. Она целый год не замечала Нору, а в понедельник Нора вышла из комнаты Пола с закрытой дверью, и, судя по запаху, с тех пор Меган не могла выкинуть это из головы, как не выкинешь занозу, пока её не вытащишь. Ей нужно было, чтобы всё стало как раньше.

— Логичнее не будет, — сказала я.

Все посмотрели на меня. Нора не перебивала. Нора не говорила «не будет».

Я поймала взгляд Меган и не отпустила. Заговорила тихо.

— Меган.

Она моргнула. Улыбка на её лице стала чуть неуверенней.

— Ты же хотела закончить свою часть на росте, — сказала я. — Сорок новых клиентов за квартал — хорошая цифра. Ей нужно последнее слово. Если после неё пойдут двадцать три подозрительных дела, Гудман запомнит дела, а не рост.

Я говорила и чувствовала, как сила течёт к ней тонкой струйкой. И чувствовала, что она течёт тяжелее, чем в понедельник. Как вода через забитую трубу. В понедельник было легко. Сейчас приходилось давить. Меган не хотела. Меган хотела, но меньше, чем Пол тогда, гораздо меньше, она хотела своего, а не моего, и мне приходилось искать в ней то место, куда она уже клонится, и место было маленькое, и я жала на него, жала…

— Ну… вообще да, — медленно сказала Меган. — Рост лучше в конце.

Я отпустила, и что-то тёплое потекло мне на губу.

Я не сразу поняла. Подумала, что это слюна, что я, как старуха, пустила слюну, задумавшись, и подняла руку вытереть, и пальцы стали красными. Кровь. Из носа, из левой ноздри, быстро, сильно, и уже капало на белую рубаху, на стол, на лист Нориных записей с цифрами.

— Ой, — сказал Рави. — Ой, Нора, у тебя…

Меган отпрянула. Пол вскочил и стал хлопать себя по карманам, как будто у него в карманах лежала помощь. Все смотрели. Я сидела, держа у лица красные пальцы, и думала, что это смешно: в первый же раз. В первый же раз, когда я по-настоящему надавила, тело ответило.

Рави сунул мне в руку пачку бумажных платков. Я прижала один к носу, запрокидывать голову не стала, наоборот, наклонилась вперёд, над столом. Бабка всегда ругала тех, кто запрокидывает голову: кровь тогда течёт в горло, и человек давится. Я сжала нос пальцами у переносицы. И сказала крови: хватит.

Кровь не послушалась. Не сразу. Она шла, и я говорила ей ещё и ещё, терпеливо, как говорят с испуганной лошадью, и чувствовала, что сил на это почти нет, что я вычерпала их на Меган до дна, и черпаю теперь со дна, с песком. Голова закружилась. Перед глазами поплыли тёмные пятна, мелкие, как мошкара над водой.

Потом кровь остановилась.

— Всё нормально, — сказала я в платок. Голос вышел глухой. — Давление. Бывает.

— Тебе бы домой, — сказал Пол. Он стоял надо мной, и от него пахло страхом: не за меня. За завтра. — Слушай, если ты завтра не сможешь, ничего, я сам расскажу…

— Смогу, — сказала я.

Он посмотрел на меня, и в нём опять качнулось то самое облегчение, которое он почувствовал в понедельник, а за ним, под ним, мелькнула короткая тревога, как рыба в мутной воде. Мелькнула и ушла. Я запомнила её.

Меган больше не говорила о том, чтобы взять мою часть. Она вообще больше ничего не говорила до конца встречи. Только смотрела на кровь на моей рубахе. От неё пахло теперь подругому, не яблоком. Она меня немного боялась, сама не зная почему.

Ночью я спала. Я легла в девять, сказала телу: спи, и оно провалилось в сон, как в колодец, и проспало десять часов подряд, без снов. Утром кровь на подушке была, немного, и голова гудела, но тише.

Я лежала, смотрела в потолок и думала о том, что надо считать. Бабка учила меня считать травы: ромашки можно дать ребёнку сколько хочешь, полыни немного, наперстянки — каплю, и ни каплей больше, и надо знать, сколько капель ребёнок уже выпил за день. Сила тоже считается. Я не считала, потому что раньше мне не нужно было. Моё прежнее тело было привыкшее, выносливое, тридцать лет оно жило с силой внутри, как жернов живёт с водой.

Это тело было новое. Оно не умело. Каждый раз, когда я брала больше, чем оно могло дать, оно платило кровью.

Я встала и спустилась по лестнице. И поднялась. Восемь раз. На восьмой сердце уже почти не колотилось.

Обзор у Гудмана был в два часа, на сороковом этаже.

Там всё было иначе. Полы были не каменные, а деревянные, тёмные, тёплые под ногами, и на стенах висели картины, огромные, яркие, на которых ничего не было нарисовано, только пятна и полосы. Окна шли от пола до потолка, и из окон было видно воду. Много воды: широкую реку, а за ней ещё реку, и залив, и где-то в дымке, на маленьком острове, стояла зелёная женщина с поднятой рукой, в которой она держала факел.

Я долго на неё смотрела. Факел.

Зал для обзоров был длинный, с полукруглым столом для старших и с рядами стульев для остальных. Пришёл весь отдел, человек сорок, три группы. Гудман сидел в середине полукруглого стола. Тело знало его по картинкам и по разговорам у кофейной машины, а я видела в первый раз: сухой, высокий, лет шестидесяти, с седым ёжиком, в очках без оправы, с лицом, на котором не шевелилось ничего. Он не улыбнулся ни разу, пока все рассаживались. Он не смотрел на людей. Он смотрел в бумаги перед собой.

От него ничем не пахло. Совсем. Он держал себя так туго, что ничего не выпускал наружу, и я, сколько ни тянулась к нему, натыкалась на гладкое, как на стекло. Это было странно. Я впервые встречала человека, который умел это без всякой силы. Я подумала, что такого человека было бы трудно сжечь. Он не дал бы им повода.

Первые две группы отчитались. Гудман задавал вопросы, короткие и сухие, и люди отвечали, и некоторые путались, и тогда он молча делал пометку, и человек бледнел. Пол сидел рядом со мной в первом ряду и постукивал пальцами по колену.

Потом вызвали нас.

Пол вышел и говорил хорошо. Гладко. Гудман спросил его про одну цифру, и Пол ответил, глянув на свой лист, и Гудман кивнул. Рави вышел, запинаясь, доложил свои цифры, и Гудман спросил его про списки, и Рави ответил, и у меня под рёбрами отпустило за него. Меган вышла, улыбалась, закончила на росте. Сорок новых клиентов. Гудман ничего не сказал. Сделал пометку.

— По эскалациям, — сказал Пол, — расскажет Нора Беннет, она вела все дела лично.

Я встала и пошла к стене.

Это было шесть шагов. Я их считала, потому что тело хотело бежать. Нора боялась этого больше всего на свете: стоять, когда все сидят, говорить, когда все молчат. Нора на втором курсе колледжа провалила устный зачёт, потому что не смогла выдавить из себя ни слова перед двадцатью людьми, и потом долго плакала в туалете, и Джесс сидела с ней на холодном кафеле. Колени у меня подгибались, ладони вспотели, и сердце пошло вскачь без моего разрешения.

Я встала у стены и повернулась к ним.

Сорок человек. Сорок лиц, обращённых ко мне. Большинству было скучно: они ждали, когда это кончится. Кто-то смотрел в своё стекло под столом. Кто-то разглядывал меня с любопытством: тихая из группы Хендрикса, которая ни разу не открывала рта. Меган смотрела с той новой, едва заметной опаской. Гудман поднял глаза от бумаг и посмотрел на меня поверх очков.

И я почувствовала. Это пришло не сразу. Сначала как тепло на коже, на лице, на руках, будто я стою лицом к печке. Потом глубже. Их взгляды ложились на меня, сорок взглядов, сходились в одну точку, и каждый был тёплый и плотный, и каждый входил под кожу и растекался там, и шёл вниз, в живот, в ноги, и снова вверх, к сердцу.

Сердце замедлилось само. Колени перестали дрожать. Боль в висках и за глазами, которая жила со мной с понедельника, растаяла, как тает лёд в горсти. Пот на ладонях высох.

Я стояла перед ними и узнавала это. Я уже это чувствовала. Один раз в жизни, на площади, в дыму. Тогда это было как река в половодье, огромное, страшное, сносящее всё. Сейчас это был ручей. Но вода была та же самая.

— Двадцать три эскалации за квартал, — сказала я. Голос вышел ровный, низкий, и я не стала делать его Нориным. — Девятнадцать подтвердились. Расскажу о самых показательных.

Я рассказывала минут двенадцать. Я не смотрела на листы на стене. Я знала каждое дело наизусть, но и это было неважно: важно было, что я смотрела на них, по очереди, на каждого, кто сидел в зале, и они смотрели в ответ. Скучающие перестали скучать. Тот, кто смотрел в стекло, убрал его. Я чувствовала, как их внимание собирается и густеет, как сливки на молоке, и чем гуще оно становилось, тем сильнее делалась я. Мне хотелось ещё, и это я тоже заметила.

Гудман дождался, пока я закончу. Потом снял очки и протёр их краем рубахи, медленно. Зал ждал.

— Мисс Беннет, — сказал он. — Дело номер четырнадцать. Компания по торговле коврами. Вы пишете, что источник средств не подтверждён. Почему вы не рекомендовали закрыть счёт?

Я посмотрела на него. Он был гладкий, как стекло, но теперь, когда я была полна, я нашла в этом стекле трещину, тонкую, как волос. Через неё сочилось любопытство. Он не пытался меня поймать. Похоже, он хотел знать, умею ли я думать.

— Потому что владелец сам пришёл к нам и сам принёс бумаги, — сказала я. — Неполные, но сам. Те, кто прячет, так не делают. Те, кто прячет, приносят полные бумаги, всегда, до последней печати. Я считаю, что он не преступник. Он плохой бухгалтер. Ему нужно время до конца года, а не закрытый счёт.

В зале стало тихо. Гудман надел очки. Посмотрел на меня ещё раз, коротко, и опустил глаза к бумагам.

— Согласен, — сказал он. И сделал пометку.

Я вернулась на место. Шесть шагов. Колени больше не дрожали, тело было лёгкое и звонкое, как туго натянутая тетива. Я села рядом с Полом, и он посмотрел на меня так, как смотрят на корову, которая вдруг заговорила по-латыни. От него пахло облегчением и завистью, и тем, третьим, тревожным, что мелькнуло вчера. Сейчас оно было сильнее.

Когда все выходили из зала, Гудман остановился в дверях, пропуская других. Я шла мимо. Он сказал, не глядя на меня:

— Беннет.

Я остановилась.

— Хорошо.

И ушёл.

Я стояла у окна, пока зал пустел, и смотрела на зелёную женщину на острове. Она держала факел над водой, и я думала о площади, о том, что площадь, которая меня сожгла, меня же и наполнила тогда силой, а я не поняла, что это было, приняла за предсмертное. А это было то, что ко мне приходит, когда на меня смотрят. Теперь я знала. Я знала, почему в подземной повозке мне было зябко: там на меня никто не смотрел. Почему эта девушка, Нора, была такая слабая и всё время уставшая. Её никто не видел.

Мне стало холодно у этого окна, и не только от стекла. Если моя сила растёт от того, что на меня смотрят, то путь к силе один: туда, где смотрят. На помост. На площадь. Туда, где собирается толпа, и ждёт, и ей всё равно, на что смотреть.

Я отвернулась от окна.

На тридцать первом этаже было уже пусто. Люди ушли в кофейню на углу отмечать конец обзора, и меня тоже позвали, впервые. Рави позвал. Я сказала, что приду позже. Я села за свой стол, а сила ещё бродила во мне, и голова была ясная, и я подумала, что надо закрыть дела.

Двадцать три дела лежали в отдельной папке в Нориной части общего хранилища. Я хотела отметить их как доложенные. Пальцы сами нашли папку и открыли, и в ней было двадцать три файла, по номерам. Я отметила их и уже хотела закрыть, но заметила, что в папке на один уровень выше лежит ещё одна, маленькая, с названием из двух букв: «ЗК». Закрытые.

Тело не хотело её открывать. Я почувствовала это сразу: что-то сжалось под рёбрами, и пальцы замерли над клавишами, как над горячей сковородой. Нора не любила эту папку. Нора туда больше не заглядывала.

Я открыла. Внутри лежал один файл, двадцать четвёртый по номеру. В списке, который я докладывала Гудману, его не было. Его там и не могло быть: на нём стояла пометка «Закрыто. Не требует дальнейших действий», и дата, последняя неделя сентября. И подпись: П. Хендрикс.

Я открыла файл.

Это была Норина работа, такая же сухая и ровная, как остальные двадцать три, но длиннее. Она начиналась с того, что крупный клиент банка, обслуживаемый отделом по работе с ключевыми клиентами, совершил за квартал серию переводов на общую сумму, от которой у меня в глазах на мгновение снова поплыла мошкара. Деньги уходили через три компании, о которых не было известно ничего, кроме адресов на далёких островах, и через неделю возвращались другой дорогой, через фонд, который помогал бывшим солдатам, а оттуда расходились мелкими суммами к десяткам людей. Нора проследила одиннадцать из них. Почти все были при власти. Помощники. Советники. Люди, которые пишут законы и решают, кому достанутся заказы.

Внизу Нора написала: «Рекомендую эскалацию. Характер операций указывает на возможное использование благотворительного фонда для неправомерных платежей должностным лицам».

И ниже, другим шрифтом, явно добавленное позже: «Получено указание руководителя: клиент ключевой, проверка проведена на уровне отдела ключевых клиентов, вопрос закрыт. Возражения изложены устно. Н.Б.»

Возражения изложены устно. Она пошла к Полу и сказала ему, что не согласна. Нора, которая почти никогда не входила в его комнату без вызова. Пошла и сказала. И Пол закрыл.

Я вернулась к началу файла. К имени клиента, которое пропустила, потому что смотрела на суммы.

«Брандт Дифенс Солюшнз».

Тело ответило раньше, чем я успела подумать. Оно знало это имя, Нора видела его в списке ключевых клиентов, на табличке у лифта на сороковом этаже, где-то в новостях. Тело объяснило, коротко, сухо, как объясняют давно известное: компания, которая продаёт оружие и людей, умеющих с оружием обращаться. Охрана. Войны в далёких землях. Контракты с правительствами. Владелец — Виктор Брандт.

Я сидела и смотрела на эти два слова на стекле. Брандт. Защитные решения.

Ханс Брандт стоял у столба с верёвками в руках, высокий, сутулый, и предлагал удавить меня раньше огня. Его отец был палачом, и дед был палачом. Три года назад я вправила ему плечо, и он оставил на столе серебряную монету.

Нора нашла его раньше меня. Ещё в сентябре, за несколько недель до того, как я очнулась в её ванне, она сидела вот за этим столом и разматывала этот клубок, нитка за ниткой, и дошла до самого конца, и написала: рекомендую. И пошла к Полу. И ничего не поняла. Для неё это были просто цифры, просто грязные деньги, одни из многих.

Я посмотрела в сторону стеклянной комнаты у окна. Пол ушёл в кофейню вместе со всеми, и комната была пуста, и на стуле висел его пиджак. Я вспомнила мокрую шерсть под его дорогим мылом и тревогу, которая мелькнула в нём, когда я сказала, что смогу. Он боялся, что я полезу в старые дела. Он боялся этого файла.

Тело заныло под рёбрами, тем старым переломом. Норе было больно, когда Пол закрыл её дело. Она тогда пришла домой и долго сидела за столом у окна, не включая свет.

Рабочую машину видит банк. Всё, что делаешь на ней, ложится в чью-то книгу. Я не стала ничего копировать и никуда отправлять. Я достала из кармана Норино стекло, подняла его над рабочим стеклом и сняла файл, лист за листом, все шесть страниц, вместе с датой и подписью. Стекло тихо щёлкало. Потом я закрыла файл, закрыла папку «ЗК», закрыла папку выше и посидела, глядя на пустое стекло.

Внизу, в кофейне на углу, меня ждали Рави и остальные. Я встала, сняла со спинки стула куртку и пошла к лифту.

Глава 5. Тихие

На Шмидтов у меня ушло две недели.

Пятьсот лет назад мне хватило одного доноса, чтобы узнать о женщине всё. Теперь я сидела ночами за старым компьютером с совой, и Шмидты сыпались на меня, как зерно из прорванного мешка, и я перебирала их по одному, отбрасывая сорное.

Я начала с того, что знала сама. Урсула вышла за Конрада Шмидта, который торговал сукном и держал лавку у Нижнего моста. Детей у них было трое: двое старших, девочки, и тот, которого я поворачивала в утробе, мальчик, крещённый Михелем на Сретенье. Ещё был мёртвый. Его не крестили, и записывать его было некуда.

Тело подсказало, где искать: в церковных книгах. Нора никогда не имела с ними дела, но знала, что в этом мире многие старые книги переснимают и выкладывают, чтобы любой мог читать. Я нашла такое место. Там были книги вюрцбургских приходов, переснятые лист за листом, серые, в пятнах, и я листала их часами, и тут тело было бесполезно, потому что Нора не знала ни латыни, ни старого письма, а я знала. Вот где мы с ней сошлись: её руки умели найти книгу, мои глаза умели её прочесть.

Самые старые книги начинались позже моей смерти. Почти на сто лет позже. Я плакала бы от злости, если бы умела плакать от злости. Но в книге за тысяча шестьсот второй год, в записи о венчании, нашлась Катарина Шмидт, дочь суконщика, внучка Михеля, правнучка Конрада. Значит, Михель вырос. Значит, взял отцовскую лавку и передал её сыну. Дальше я шла от неё, вниз, и это было уже легче, потому что там начинались чужие деревья, люди, которые выращивали свою родню на дереве с зелёной картинкой. Они ошибались, путали, сливали двух разных Иоганнов в одного, но они делали половину работы за меня.

Ветки от Михеля разошлись широко. Одна вымерла в чуму. Одна ушла в Вену. Одна осталась в Вюрцбурге до самой последней большой войны, о которой тело рассказало мне такое, что я закрыла компьютер и ходила по комнате до утра. Одна ушла за море в тысяча восемьсот восемьдесят первом году, на пароходе из Гамбурга, и здесь мне повезло второй раз. Писарь в порту записал фамилию правильно. Шмидт так и остался Шмидтом.

Георг Шмидт, пекарь. Осел в Пенсильвании, в городке под названием Кеттлвуд. Открыл пекарню в тысяча восемьсот девяносто первом.

Я вписала в строку название пекарни. Строка принесла мне картинку: низкий кирпичный дом на углу двух улиц, вывеска с золотыми буквами и колосом, в витрине караваи. «Шмидтс. Хлеб с 1891 года». Строка знала и время, когда пекарня открыта, и что про неё говорят люди. Люди говорили, что ржаной там лучший в округе, что булочки с корицей по субботам надо брать до девяти, иначе не останется, и что старик за прилавком иногда забывает дать сдачу и сам потом бегает за тобой по улице. Были и другие голоса, потише: что пекарня теперь открыта не каждый день, что большие магазины на дороге в Ланкастер продают хлеб вдвое дешевле и что Шмидтам, наверное, недолго осталось.

Старик за прилавком. Вальтер Шмидт, семьдесят восемь лет. Правнук Георга.

Я долго смотрела на картинку, на кирпичный дом и колос на вывеске. Потом посмотрела, как туда добраться. Тело знало. Длинная железная повозка до Ланкастера, почти три часа, а оттуда ещё сорок минут другой, поменьше.

Я купила билет на субботу.

Собиралась я в пятницу вечером. Я не знала, что меня ждёт, и готовилась ко всему, как готовилась когда-то к трудным родам: всё, что может понадобиться, в одну сумку, и ничего лишнего. Я положила в Норину сумку на длинном ремне её стекло, бумажные деньги и её карточку на шнурке, чтобы я была похожа на человека с работой. Подумала. Потом пошла

на кухню и взяла из ящика маленькие ножницы, которыми Нора подрезала цветам стебли. Ножницы были острые. Ими можно отрезать прядь волос. Я положила их в боковой карман.

Я не знала, что сделаю. Я знала, что могу. Мне достаточно было коснуться руки. Порча садится через прикосновение, как семя в рыхлую землю: бессонница, жар, сердце, которое начинает сбиваться с шага по ночам и пугать хозяина до холодного пота. Я никогда не делала этого со стариками, это было слишком легко, а то, что слишком легко, бабка называла недостойным. Но я никогда раньше и не стояла перед далёким потомком Урсулы Шмидт.

Длинная повозка ушла с огромного вокзала под землёй рано, когда за окном ещё не рассвело. Я сидела у окна и смотрела, как город тянется и тянется и всё никак не может кончиться: склады, свалки, речушки с железными мостами, дома, дома, дома. Потом, когда я уже думала, что конца не будет, он кончился, и пошли поля.

Я не видела полей с того июньского утра. Тело Норы видело их, проезжая мимо, но никогда не смотрело. Я смотрела. Ноябрь, урожай давно убран, земля лежала голая, бурая, в рыжих полосах стерни, и по ней ходили большие чёрные птицы, вороны или грачи, я не могла разобрать на ходу. Иногда земля поднималась пологими холмами, и на холмах стояли рощи, облетевшие, серые, как дым, только дубы ещё держали бурые листья. Над полями висел туман. Небо было низкое, белое, сырое. Пахло бы, наверное, мокрой землёй и прелым листом, но в повозке пахло только тёплым воздухом и чьей-то едой из бумажного пакета.

Потом пошли фермы. Большие красные амбары с белыми рамами. Силосные башни, серебристые, круглые, как огромные бочки. Белые дома с крыльцами. И на одной дороге, вдоль которой мы шли довольно долго, я увидела повозку. Настоящую. Чёрную, крытую, на высоких колёсах, запряжённую гнедой лошадью, и на облучке сидел мужчина в чёрной шляпе с широкими полями и с бородой без усов. Рядом с ним сидела женщина в тёмном платье и в белом чепце.

Я прижалась лбом к стеклу. Повозка осталась позади.

Тело объяснило: здесь живут люди, которые не берут ничего из нового мира. Ни света без огня, ни повозок без лошадей, ни говорящих стёкол. Их предки пришли сюда из немецких земель, из Швейцарии, и до сих пор говорят дома на старом немецком наречии, и одеваются, как одевались триста лет назад. Их здесь много. Их можно видеть на дорогах.

Я сидела и думала об этом до самого Ланкастера. Люди, которые ушли из моего мира и унесли его с собой. Сберегли. Как в холщовом мешочке. Я не знала, чего во мне больше от этой мысли, нежности или злости.

Повозка от Ланкастера шла ещё сорок минут, по узкой дороге среди тех же полей, мимо тех же амбаров, и остановилась на маленькой площади с белой церковью, почтой, лавкой, где продавали инструменты, и банком, таким крохотным, что в нём, наверное, работали три человека. Кеттлвуд. Я вышла. Повозка ушла.

Было тихо. Где-то лаяла собака. На площади стоял высокий клён, совсем голый, а под ним лежали его листья, жёлтые, красные, мокрые от тумана, и никто их не убирал. Две женщины в куртках разговаривали у почты, и одна из них, увидев меня, кивнула мне, просто так, как кивают незнакомцу в деревне. Я кивнула в ответ. На меня посмотрели. В городе, где я жила, на меня никто никогда не смотрел просто так.

Пекарня стояла на углу, в двух шагах от площади. Красный кирпич, вывеска с колосом. В витрине караваи, круглые и длинные, тёмные и светлые, плетёные косы с маком, булочки, посыпанные сахаром. Над дверью висел колокольчик.

Я стояла через улицу и смотрела на дверь, и ноги не шли.

Было без двадцати девять. Из двери, звякнув колокольчиком, вышла женщина с бумажным пакетом. Вошла пара стариков. Вышли. Вошёл мужчина с маленьким мальчиком на плечах. Ветер переменился, и до меня долетел запах.

Хлеб. Ржаной, с тмином. Тёплый, только что из печи. Тот самый запах, который каждое утро стоял над Домштрассе, когда я шла через город в Мариенкапелле к ранней службе, и над Нижним мостом, где у Конрада Шмидта была суконная лавка, а через три дома от неё — пекарня.

Я перешла улицу и открыла дверь.

Внутри было тепло, тесно и светло. Пол был из старых досок, вытертых до гладкости, прилавок из тёмного дерева со стеклом, за стеклом пироги и булочки. На полках вдоль стен лежали караваи. В глубине, за открытой дверью, виднелась печь, большая, железная, и возле неё работала женщина лет пятидесяти, в фартуке, с мукой на лбу. На стене висели картинки в рамках, старые, бурые: усатый мужчина в белом фартуке на пороге этого самого дома, люди возле телеги с мешками, свадьба, ещё свадьба. Под ними, в отдельной рамке, висела грамота с печатью и большими буквами: «Лучший хлеб округа Ланкастер, 1958».

За прилавком стоял старик.

Он был невысокий, сухой, с большими руками, слишком большими для такого тела. Руки были в муке до запястий. Белые волосы торчали из-под белой шапочки. Лицо в морщинах, глубоких, как борозды на пашне, и глаза, светло-голубые, выцветшие, с красными прожилками. Он отсчитывал сдачу женщине передо мной, медленно, шевеля губами, и уронил монету, и женщина засмеялась и сказала: «Ничего, мистер Шмидт», и он засмеялся тоже.

От него шло тепло. Ровное, слабое, как от печи, которую давно протопили и забыли. И усталость, такая давняя, что стала частью тепла. И ещё что-то, чего я сразу не поняла, тихое, привычное, тянущее под сердцем. Так в Вюрцбурге пахли вдовцы, которые по старой памяти ставили на стол лишнюю миску. Он кого-то потерял, давно, и носил эту потерю каждое утро, затемно, вместе с тестом. Это была не тоска. Тоска остра. Это было как камешек в башмаке, с которым ходят столько лет, что уже не вынимают.

Глаза у него были другие, чем у Урсулы. Нос другой. Рот другой. Пятьсот лет, двадцать колен. От Урсулы в этом лице не осталось ничего.

Подошла моя очередь.

— Доброе утро, — сказал он. — Что желаете, мисс?

Я не ответила сразу. Я смотрела на его руки на прилавке. На муку в морщинах на костяшках. Ножницы лежали у меня в боковом кармане сумки, и я чувствовала их сквозь ткань.

— Ржаной, — сказала я. — С тмином.

— Отличный выбор. — Он повернулся к полке, снял каравай, тёмный, с трещинами на корке, обсыпанный тмином, и стал заворачивать в бумагу. Пальцы плохо слушались его, и бумага не сходилась. Он заворачивал и разворачивал. — Вы не местная.

— Из Нью-Йорка.

— Издалека. Ради хлеба?

— Ради хлеба.

Он поднял на меня свои выцветшие глаза и улыбнулся, очень довольный.

— Ну, тогда вы не ошиблись. Этот рецепт мой прадед привёз из Германии. Вот он. — Он кивнул на картинку с усатым мужчиной на пороге. — Георг. Говорят, он сам привёз закваску. В кармане. Сорок дней на пароходе, а закваска выжила. Её до сих пор кормим. Ей больше ста лет. — Он подмигнул. — Как мне примерно.

Из глубины, от печи, донёсся смех, и женщина в фартуке крикнула:

— Папа, не ври людям, тебе семьдесят восемь!

— Я не вру, я округляю! — крикнул он ей через плечо.

Колокольчик над дверью звякнул у меня за спиной. Вбежали дети. Девочка лет семи, светловолосая, в красной куртке, и с ней мальчик, совсем маленький, года три, в шапке с помпоном. Девочка держала его за руку, крепко, обеими руками, и тащила к прилавку, а он упирался и смотрел на меня круглыми глазами.

— Деда! — крикнула девочка. — Мама сказала, можно одну булочку! Одну на двоих!

— Одну на двоих, — повторил старик сурово, и тут же достал из-под стекла две, и протянул каждому по одной. — Только маме не говорите.

Девочка взяла обе. Одну дала мальчику, и он сразу откусил, обсыпав себя сахаром. Потом она обхватила его, прижала к себе, маленького, в сахаре, и посмотрела на меня поверх его шапки, настороженно, как смотрят на чужого, который стоит слишком близко.

Урсула стояла в третьем ряду и прижимала к себе младенца. Младенец перестал плакать.

Я смотрела на девочку. У неё были светлые волосы, как у Урсулы. Нет. У Урсулы были тёмные. Я не помнила. Я пыталась вспомнить цвет волос Урсулы из-под праздничного чепца и не могла, и этого я и боялась: ил оседал, и то, что лежало на дне, заносило всё глубже.

— С вас шесть пятьдесят, — сказал старик.

Я положила на прилавок десять. Он взял бумажку, открыл ящик, стал отсчитывать сдачу, медленно, шевеля губами. Потом протянул мне монеты на большой раскрытой ладони, обсыпанной мукой.

Мне нужно было только взять монеты. Только коснуться этой ладони. Один миг, пальцами, и он ничего не заметит, решит, что у девушки из Нью-Йорка холодные руки.

Я стояла и смотрела на его ладонь. За спиной у него, в открытой двери, работала у печи его дочь, и я чувствовала от неё другое, острое, свежее: тревогу о деньгах. Я вспомнила тихие голоса в строке, про большие магазины на дороге в Ланкастер. Наверное, только по субботам, до девяти, здесь было как раньше. Девочка в красной куртке жевала булочку и смотрела на меня. Мальчик в сахаре смотрел на меня. Старик смотрел на меня и ждал, протянув ладонь.

Они на меня смотрели. Я чувствовала, как от их взглядов тепло ложится мне на кожу, три слабых, тёплых, ничего не требующих взгляда. И сила во мне откликалась на них, и ей было мало, и ей было всё равно, чьё это тепло, она брала бы и от них, если бы я позволила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.